



## **М. Н. ПОКРОВСКИЙ**

**14/26 декабря 1825 года**

Сто лет назад в царской столице, тогда называвшейся Петербургом, было впервые поднято знамя восстания против царского самодержавия.

Не впервые Россия видела восстание против царя. Народные массы вставали против Василия Шуйского при Болотникове, против Алексея Романова при Разине, против Екатерины ангальт-цербстской при Пугачеве. Но то были восстания против определенного царя, а не против царизма вообще. Восстание масс притом 14/26 декабря 1825 года не было восстанием масс, — но восстание шло не против царя, а против царизма.

«Страшно далеки они от народа», — сказал о декабристах Ленин. Далеки не географически. Народ был подле, у их локтя, в лице рабочих Исаакиевского собора, бомбардировавших Николая Палкина камнями и поленьями, в лице петербургских мастеровых, густыми толпами наполнявших все улицы, прилегавшие к Сенатской площади, в лице дворовых людей петербургской знати, еще через двадцать лет тепло вспоминавших неудачное восстание. Но сами восставшие, руководившее движением офицерство, всего этого не видели, не желая видеть. Они больше всего были озабочены тем, как бы солдаты не начали стрелять. И только когда на каре декабристов неслась конница, никакие удерживания не помогли — ружья разряжались сами.

Николай не постеснялся — пустил в ход пушки. И через несколько часов после разгрома и ареста посыпались откровенные показания, доносы на вчерашних соперников по заговору, слезы в царский жилет...

Очень мало были похожи эти люди на тех революционеров, которых знала Россия уже со времени «Народной Воли». Серьезнее были члены «Южного общества», к моменту петербургского восстания уже разбитого провокацией и арестами. На юге были две организации, одной из которых буржуазная история долго не замечала. Характерно, что незамеченной оставалась как раз наиболее демократическая и наиболее революционная. Предметом внимания историков было главным образом блестящее и родовитое «Южное общество» с полдюжиной генералов и полутора дюжинами полковников в качестве номинальных членов и с такими именами, как Пестель, Сергей и Матвей Муравьевы-Апостолы, Артамон Муравьев просто, кн. С. Г. Волконский, М. П. Бестужев-Рюмин, в числе членов действительных. Это были «знать» и «начальство», знать весьма подлинная и начальство весьма крупное, в руках у которого прямо были полки и бригады, а косвенно — дивизии и корпуса. И они сами себя и потомство их довольно долго после считали единственными серьезными заговорщиками на юге.

Что «Южное общество» было серьезнее «Северного», не подлежит сомнению. В Петербурге заговор в настоящем смысле этого слова сложился, можно сказать, перед самым выступлением; раньше была рыхлая организация, без определенного плана и определенной цели, жившая случайными слухами о том, что делалось на юге, и смутными надеждами, что до нас, авось, не дойдет. А когда безжалостная история поставила нос к носу с немедленным выступлением именно в Петербурге, началась истерика, подбадривание друг друга революционными фразами, искусственное подогревание революционного энтузиазма, которого хватило на несколько часов — и то не у всех. Как раз глава заговора Трубецкой — единственное «северное» имя, которым хвалились и на юге, — не нашел в себе мужества даже, чтобы пойти на площадь.

На юге годами велась серьезная конспиративная работа. Здесь не нужно было случайности вроде беспотомственной смерти Александра I, чтобы развязать действие: план действия здесь был давно готов, ясно представляли себе, с чего начать и чем кончить. И, главное, на юге был крупнейший, по существу дела единственный, идеолог всего движения — Пестель.

Фигура этого монтаньяра в полковничьем мундире, родившегося в семье русского генерал-губернатора, остается до сих пор загадочной. Что поставило на самый левый фланг дворянского

заговора бывшего кавалергардского офицера и адъютанта главнокомандующего, с огромной карьерой в перспективе? Считаться с тем, что Пестель лично был «безземельный дворянин», конечно, смешно, — особенно если вспомнить, что его ближайшими соседями по заговору были отнюдь не безземельные кн. Волконский и С. Муравьев-Апостол. Долгое время внушала несбыточные надежды «записная книжка Пестеля», периодически исчезающая и вновь всплывавшая в наших архивных собраниях. Но когда ее окончательно нашли, тут же было и окончательно установлено, что она принадлежит вовсе не Пестелю. В конце концов приходится ограничиться наиболее общим, но, может быть, и наиболее верным объяснением: Пестель был самым левым из декабристов, потому что он был самым умным из декабристов, единственным из дворянской верхушки заговора, кто понимал, что низвержение самодержавия может быть делом только массовой революции.

Этот ученик Сисмонди — до нас дошел политико-экономический трактат Пестеля, показывающий, что автор стоял на высоте тогдашней экономической науки, — по-своему понимал классовую природу царизма. Он понимал, что, не вырвав из-под него базы, крупного феодального землевладения, нечего и думать о создании радикально нового порядка, а не заинтересовав в этом порядке крестьян, нечего и думать о его прочности. Мысль, что аграрный вопрос есть стержень русской революции, не была чужда Пестелю. И самый военный заговор он не представлял себе без участия всей армейской массы, всех низов армии: «поручал, — говорит о Пестеле известный «алфавит» Николая Павловича, — командирам рот быть готовым и готовить нижних чинов к цели общества»<sup>1</sup>.

И как раз в этом понимании значения масс в революции Пестель был одинок даже в «Южном обществе». Горбачевский записал о последнем: «Члены “Южного общества” действовали большею частью в кругу высшего сословия людей; богатство, связи, чины и значительные должности считались как бы необходимым условием вступления в общество; они думали произвести переворот одною военною силою, без участия народа, не открывая даже предварительно тайны своих намерений ни офицерам, ни нижним чинам, из коих первых надеялись увлечь энтузиазмом, а последних — или теми же средствами, или деньгами и угрозами»<sup>2</sup>, как ни тенденциозен Горбачевский, — он обвиняет в нежелании считаться с солдатами даже Пестеля, что, как мы только что

видели, совершенно неверно, — у него достаточно фактического материала для оправдания его общей характеристики. «Полковник Тизенгаузен всегда говорил, что для него довольно будет, если он, выстроивши полк, выкативши несколько бочек вина, выдавши несколько денег, вызвавши песенников вперед, крикнет: “Ребята, за мной!” — чтобы полк двинулся и действовал в смысле его»<sup>3</sup>. Другое «начальство», командир 5-й конно-артиллерийской роты Пыхачев, на одном собрании членов «Южного общества» заявивший, что он никому не позволит отнять у его роты честь дать первый выстрел вооруженного восстания, находил, что и водки не нужно: достаточно прибавить сала в кашу; а третий, тоже артиллерийский начальник, говорил еще проще, что он свою роту, если бы она за ним не пошла, «погнал бы палкою»<sup>4</sup>. Для полной ясности картины остается прибавить, что Тизенгаузен первый принялся арестовывать заговорщиков, как только восстание разразилось, а рота именно Пыхачева расстреляла восставший Черниговский полк.

Революционной фразы и презрения к массам было и на юге совершенно достаточно. «Южане» были смелее, были лучше организованы, имели в лице Пестеля своего теоретика действия, но пестелевская теория была несравненно левее их практики. На практике крепостнические привычки и на юге сквозили из всех щелей, и такой рыцарь, как С. И. Муравьев-Апостол, одна из самых эффектных фигур заговора, которая так и просится на сцену, был искренно возмущен, когда какая-то посторонняя сила начала агитировать офицеров «его» полка. И с трудом приходилось его уговаривать, что, по крайней мере, офицер-то не крепостной и может принадлежать к той организации, к которой захочет.

А между тем, если где-нибудь в заговоре было что-нибудь близкое к теориям его вождя, этого нужно искать именно в этой посторонней силе, вмешательство которой смутило и возмутило Муравьева. В тени роскошного и великолепного «Южного общества» гнездилась небольшая серая кучка поручиков и прапорщиков глубокой армии из детей мелкопоместных дворян, провинциальных чиновников, даже крестьян, «отыскивавших дворянство». Эти люди стояли на социальной лестнице так невысоко, что не гнушались общества «комиссионеров X класса», т. е. мелких интендантских чиновников, а их унтер-офицеры и фейерверкеры были их обычной компанией. «Южному обществу», когда оно в поисках связей с армейскими низами обратило на них внимание,

прежде всего пришлось отучать их от дурных знакомств, но те подчинились только на словах, а на деле своих комиссионеров не бросили. В то же время эти люди задолго до знакомства с декабристами выбрали своим гербом штык, а своим лозунгом — отмену крепостного права. Низвержение крепостнического строя вооруженной рукой почти исчерпывало их несложную программу. Это было общество «Соединенных Славян».

Это название к моменту восстания было просто военной маскировкой, сбившей, еще раньше всех историков заговора, Николая I. Когда «Славян» привели к нему на допрос, он спросил их: «Чего вы хотели? Конституции?» — «Нет, государь, мы имели намерение образовать федерацию из всех славян»<sup>5</sup>. На самом деле они, после ареста Пестеля, после разгрома на Сенатской площади, хотели начать восстание в южной армии, успели поднять один полк и подняли бы еще несколько, если бы не поголовное предательство всего «начальства», сконцентрированного в «Южном обществе», кроме С. И. Муравьева-Апостола и Бестужева-Рюмина. У названия была своя история, которую здесь долго было бы рассказывать; читателю будет кое-что понятно, если мы скажем, что первоначально общество было основано совместно русскими и поляками. В декабре 1825 года поляки не играли уже никакой роли, «но продолжали сочувствовать «Славянам» и оказывали им всякие мелкие услуги.

От «Славян» нам остался замечательный памятник — «Записки» Горбачевского, проникнутые такой острой социальной ненавистью к членам «Южного общества», что пользоваться ими, как документом, без оговорок нельзя. Эта их черта тем более замечательна, что «Записки» — отнюдь не индивидуальное произведение: Горбачевский в них говорит о многом, чего он лично не видел, не мог видеть. По сути дела, он был секретарем всей группы, поскольку она и в Сибири держалась вместе. Настроение «Записок» — настроение не отдельного человека, а класса. На этот класс возлагались определенные надежды лидерами «южан». Борисов 2-й, основатель «Славянского» общества, показывал на следствии: «Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин объявили нам, что революция будет сделана военная, что они надеются произвести оную без малейшего кровопролития потому, что крестьяне, угнетенные их помещиками и налогами, притесняемые командирами солдаты, обиженные офицеры и разоренное дворянство по первому знаку возьмут нашу сторону, и мы не будем встречать нигде сопротивления»<sup>6</sup>.

В «Соединенных Славянах» мы имеем самый нижний слой не всей общественной пирамиды, но ее верхушки. Это была наиболее обделенная судьбою часть дворянства, уже выпадающая из «правящего сословия», близкая к тому, чтобы превратиться в «разночинца», и питавшая такую острую ненависть к господствовавшему порядку, какой напрасно было бы искать в богатых усадьбах, где собирались «управы» «Южного общества». Самый язык их показаний не тот, что членов «Северного» или «Южного» обществ. Те, почти без исключений, давали откровенные показания, но тщательно сохраняя «оттенок благородства», объясняя свою откровенность или лояльностью и неумением лгать, или желанием предупредить худшие последствия и т. д. «Славяне» или падали совершенно, как тот же Горбачевский, пытавшийся объяснить свое участие в заговоре тем, что был в него завлечен коварными людьми, или разговаривали со следственной комиссией совсем непривычным для нее языком. Отставной поручик Борисов 1-й — какое ничтожество с точки зрения военной иерархии! — говорил своим превосходительным следователям: «Я откровенно объявил, что сам себя считаю виновным против самовластного правления; но по своему рассудку не признаю ни себя, ни кого-либо из моих товарищей. Может быть, я в заблуждении, но твердо уверен, что законы ваши неправые; твердость их находится в силе и предрассудках»<sup>7</sup>.

И только среди «Славян» мы встречаем такие твердые, негибнущиеся фигуры, как поручик Кузьмин, готовый поднять свою роту по первому требованию революционной организации, проделавший весь трагический поход Черниговского полка, смертельно, в сущности, раненный картечью под Трилесами, несколько часов скрывавший свою рану и застрелившийся, как только ему удалось отвлечь от себя внимание товарищей; как другой поручик, Сухинов, нашедший в себе смелость поднять восстание даже в самой Сибири, на каторге, и тоже покончивший самоубийством после неудачи (причем покушался три раза). В этой непреклонности уже есть что-то от «Народной Воли», и если В. Н. Фигнер хотела общим венком революции покрыть этих декабристов, она была права. Но есть основания опасаться, что она имела в виду скорее Пестеля и Муравьева-Апостола, на изящном французском языке писавших Николаю и его генерал-адъютантам письма, бывшие по существу дела прошениями о помиловании.

«Соединенные Славяне», помимо всего прочего, были главным из тех приводных ремней, которые от верхушки заговора

шли к солдатской массе. Характерно, что и у них была своего рода иерархия: в заговор посвящались только унтер-офицеры, не непосредственно рядовые. «Доверенность возрастала с каждым днем, — пишет Горбачевский, — и некоторые фейерверкеры (так назывались тогда унтер-офицеры артиллерии) сделались настоящими членами тайного общества»<sup>8</sup>. Внизу, в роте пехоты или артиллерии (артиллерийские батареи назывались тогда «ротами»), в миниатюре воспроизводилась та же схема заговора, которая была наверху: Горбачевский этого не заметил, а «нижние чины» не оставили мемуаров...

А между тем именно это участие нижних чинов, участие сознательное во многих случаях на юге, вероятно, нередко сознательное и на севере, — но там на такую мелочь не обратили внимания ни заговорщики, ни следователи, — именно оно, одно оно дает нам право связать восстание 1825 года с великими народными взрывами 1905 и 1917 годов. В своей офицерской части заговор в лучших образчиках не идет дальше «Народной Воли», в худших — спускается до дворцовых переворотов XVIII века. Но на Сенатской площади 14 (26) декабря 1825 года и на полях Киевской губернии 3 (15) января 1826 года легли сотнями крестьяне в солдатских шинелях, а рядом с ними в Петербурге легли и сотни «мастеровых», а под Трилесами — немало местных крестьян, сопровождавших восставший полк. На поле Первой революционной битвы XIX века их не завлекли обманом, как старались уверить царь Николай и его чиновники: их привлекла туда острая социальная ненависть, ненависть к крепостничеству, более сильная, чем все, что могли чувствовать к старому порядку самые захудалые и разоренные дворяне. Имена этих людей никому пока неизвестны — наша обязанность сделать их более знаменитыми, чем их чиновные вожди. Ибо только гибель этих людей дает нам право сказать: в России в 1825 году начиналась революция.

